

С Д В И Г



Э д у а р д С е р о у с о в

Эдуард Сероусов

Сдвиг

<https://litres.ru/74189429>

SelfPub; 2026

Аннотация

Геофизик Марк двадцать лет предупреждал: ослабление магнитного поля Земли — не далёкая угроза, а близкая. Его не слышали. В этом мире его бывший лучший друг Денис построил «Эгиду» — масштабную систему стабилизации геомагнитной защиты. В день торжественного запуска полдень над тропическим портом вдруг становится плоским и неправильным: дедов латунный компас в кармане Марка показывает на восемь градусов западнее севера. По жестяным крышам идёт дождь из мёртвых птиц, в зените разгорается зелёная полоса полярного сияния. В семистах километрах к северу падает в скалы малая авиация. На борту — дочь Марка. Повесть о двух гордынях, мёртвых дорогах и компасе, брошенном в темноту.

Содержание

Часть 1. Полдень	4
Часть 2. Падение	17
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Эдуард Сероусов

Сдвиг

Часть 1. Полдень

«Пап. Это снова я. Ты опять не берёшь».

Он держал телефон у уха, хотя записи было одиннадцать секунд и он знал их наизусть. Знал, где её голос дрогнет на «снова», где в трубке скрипнёт ветер — она всегда звонила с открытого места, с лётного поля, из-под неба, и ветер был у неё на заднем плане всегда, как чужой ровный собеседник.

«Перезвони, ладно? Просто... перезвони».

Пауза. Шорох. Гудок.

Марк опустил руку. Полдень лежал на крыше плоско и бело, и было в этом свете что-то, чего он не сумел назвать сразу. Слишком много его. Слишком ровного — без той густой синевы в тених, какая бывает у настоящего июльского полудня. Тени под баками с водой выцвели, словно из них убавили один цвет. Он смотрел на них, и под рёбрами медленно, по-старчески, заворочался холод, который он научился узнавать за двадцать лет работы: холод правоты, которой не хочешь.

Он достал компас.

Латунный, тяжёлый, дедов; стрелка на алмазной игле, по

краю — выцветшие румбы. Он носил его не для дела — для дела были приборы, которые теперь стояли в коробках в чужой квартире, у бывшей жены. Он носил его, как другие носят чётки или монету: чтобы тронуть, когда мир качается, и убедиться, что есть твёрдое «туда». Север. Хотя что-то, на что показывает не он сам.

Стрелка качнулась, успокоилась — и стала не туда.

Не сильно. Градусов на восемь к западу от того, где север был всю его жизнь, где он был утром, где он был вчера. Восемь градусов — пустяк для прохожего. Для геофизика — приговор, набранный мелким шрифтом. Поле уходило. Не завтра, не «в перспективе тысячелетий», как писали в осторожных статьях, которые он больше не читал; сейчас, под этим плоским светом, у него в ладони, на восемь градусов.

— Рано, — сказал он вслух, никому. — Слишком рано.

Чайки шли над крышей не так. Он следил за ними прищурясь — привычка читать небо была у него прежде привычки читать людей и куда надёжнее. Чайки всегда тянулись вдоль берега, ленивой пунктирной линией, на запах рыбы и помоек порта. Сейчас они кружили. Сбивались, расходились, заходили на второй круг над одной и той же точкой пустого воздуха, будто там, в синеве, висело что-то, чего они не видели и не могли облететь. Птица знает дорогу не глазами. У неё в голове, в клетках над клювом, крохотные зёрна железа, и они чувствуют поле, как ты чувствуешь верх и низ. У них отнимали верх и низ.

Он убрал компас в карман. Тронул другой карман — там, сложенный вчетверо, лежал рисунок. Он не доставал его. Просто знал, что он там: три фигуры цветными карандашами, большой, поменьше и совсем маленькая посередине, держатся за руки под жёлтым солнцем с лучами-палочками. Лет двенадцать рисунку. Маленькая посередине теперь водела самолёты.

Он приходил на эту крышу каждый день уже неделю — с того утра, как по всем каналам, торжественно, под музыку, объявили, что «Эгиду» наконец включили. Запустили щит. Спасли планету от того, чего планета и не думала с ней делать. Он смотрел тогда на ликующих дикторов из своей съёмной комнаты, куда переехал после развода, среди коробок, которые так и не разобрал, и ему было физически дурно — той тошнотой, какая бывает, когда видишь, как чужая рука тянется к оголённому проводу, а крикнуть нельзя, поздно, рука уже там. Поле к тому дню уже неделями вело себя странно, тихо, на грани, как он и предсказывал на тех слушаниях, где его освистали. Медленный экскурс. Выживаемый. Можно было готовиться, учиться, успеть. А они испугались медленного — и включили быстрое.

Он приходил на крышу смотреть, потому что больше ему было некуда смотреть. Лабораторию у него отняли. Жену он отдал сам — не другому, а своей правоте; нельзя жить с человеком, который каждое утро за кофе сообщает тебе, что мир кончается, а ты должна радоваться, что он хотя бы пре-

дупредил. Друга он потерял в один день, при всех. Осталась крыша, компас и небо, которое он умел читать, как другие читают лица, — и которое теперь, под этим плоским неправильным светом, читалось одним коротким словом, и слово было: началось.

Он спустился вниз.



Город ещё не знал. В этом была отдельная, тихая жуть — идти по улице, которая не знает.

Торговали манго с лотков, в три ряда, янтарными горками; пахло горячим асфальтом, морем и тем сладко-гнилым, чем всегда пахнет южный порт в полдень. Старуха поливала из шланга пальму в кадке у двери; вода била в пыль и поднимала запах мокрого камня. Мотороллер протарахтел, обдав бензином. Двое мальчишек гоняли мяч у глухой стены, и стена эхом стучала на каждый удар. Всё было на месте. Всё было обыкновенно, как может быть обыкновенно за минуту до.

Марк остановился у витрины — он сам не сразу понял зачем, ноги встали раньше головы. Лавка ходовых мелочей для яхтсменов: фонари, линии, ножи, и на бархатной подложке — компасы, штук двадцать, разного калибра, для рубки и для запястья. Он смотрел на них, и холод под рёбрами стал колючим.

Они все показывали в одну сторону. Это было нормально — компасы и должны показывать в одну сторону. Но сторона

была не та. Все двадцать стрелок, дружно, согласно, уверенно показывали на восемь — нет, теперь уже на десять — градусов западнее севера. Двадцать честных приборов хором, спокойно, без тени сомнения ввали. И самое страшное было именно спокойствие: ни одна не дрожала, не металась. Они были убеждены.

— Красивые, да? — Из дверей вышел хозяин, толстый, в мокрой от пота рубашке, вытирая руки. — Берёте? Этот швейцарский, держит как зверь.

— Они врут, — сказал Марк.

Хозяин засмеялся — добродушно, как смеются городскому сумасшедшему, чтобы не обидеть.

— Компас не врёт, дорогой. Компас — он простой. Магнит к магниту. Это не телефон, тут ломаться нечему.

— Магнит к магниту, — повторил Марк. — Вот именно. А если большой магнит сошёл с ума, маленький честно покажет на сумасшествие. — Он ткнул в стекло. — Север сегодня там. И там же был час назад, чуть восточнее. Он идёт. Понимаете? Он ползёт у вас в витрине, а вы хотите мне его продать.

Хозяин перестал улыбаться. Посмотрел на компасы — долго, как смотрят на знакомое лицо, ища, что в нём не так, — и не нашёл. Для него все стрелки показывали на север, потому что север был там, куда показывают стрелки; так устроена голова, которой нечем мерить, кроме самих стрелок.

— Вы с яхты? — спросил он осторожно. — Перегрелись,

может. Жара такая.

— Я геофизик, — сказал Марк и сразу пожалел. Слово упало в горячий воздух тяжёлое и пустое, как монета чужой страны.

— А-а, — протянул хозяин с облегчением: сумасшедший оказался при должности, значит, не опасен. — Учёный. Ну вы там, учёные, починили же. По телевизору говорили — щит поставили. «Эгида». Большие деньги. Так что не волнуйтесь, дорогой, всё под контролем.

Под контролем. Марк открыл рот — и закрыл. Что он скажет? Что «Эгида» и есть та игла, которой ткнули спящего зверя? Что он три года кричал об этом в пустоту, пока его кричали-кричали и докричались до развода, до увольнения, до того, что лучший друг назвал его при всех паникёром и трусом, который боится будущего? Что щит не ставят на то, что рождается в восьми тысячах километров под ногами, в раскалённом железном море ядра, — туда не дотянуться никакой «Эгидой», можно только разозлить?

— Да, — сказал он. — Под контролем. Извините.

И пошёл дальше, и в спину ему хозяин крикнул с обидой:

— Компас работает! Слышишь? Работает!

Работает, думал Марк, шагая прочь сквозь толпу, которая ещё не знала, мимо лотков с манго, мимо детей, мимо женщины, развешивающей бельё на балконе — белые простыни под зелёной полосой в небе, которой она не замечала. Работает. Так ему говорили двадцать лет. Так ему говорили на

слушаниях, и в редакциях, и за столом дома: смотри, всё работает, самолёты летают, телефоны звонят, компасы показывают на север, о чём ты, какой рок, ты невротик, ты накручиваешь, ты пугаешь людей. Быть правым в мире, который ещё работает, — это и есть проклятие Кассандры: тебя слышат, тебя даже понимают, и тебе не верят именно потому, что верить пока незачем. А когда становится зачем, верить уже поздно. Он всю жизнь стоял на берегу и показывал на горизонт, где собиралась волна, и люди оборачивались, видели ровное море и шли пить кофе. Теперь волна вставала. И единственное, чего он хотел в эту минуту, — не быть правым. Отдать всю свою правоту за один спокойный полдень, в котором его дочь не падает с неба.



Аня не брала трубку.

Он шёл и набирал, шёл и набирал. «Абонент находится вне зоны действия сети». Голос автоответчицы был ровный, как у Елены, когда та читала лекцию, и от этого сходства его замутило. Он попробовал ещё раз, у светофора, под пальмой, чьи листья висели в безветрии жестяными лентами. Вне зоны. Вне зоны.

Она ушла на север три дня назад. Малое судно, частный контракт, перегон груза вдоль побережья и дальше, к холодным широтам, куда он сам не летал и не хотел. Лётчик она была лучше, чем он отец, — это он знал точно, это было единственное, в чём он не сомневался. Руки у неё были спо-

койные. Спокойнее его рук. Спокойнее его головы.

Их последний разговор он помнил по-плохому — помнил не её, а себя. Она зашла попрощаться, она всегда заходила, она была верная, не в него; а он, вместо того чтобы обнять и отпустить, начал про поле. Про экскурс, про сигнатуру, про то, что нельзя сейчас в долгие рейсы, что приборы скоро начнут лгать, что нужно учиться без них, по приметам, как деды. Он говорил, говорил, он был так чудовищно прав, он раскладывал перед ней свой рок, как раскладывают карты больному. А она гасла. Любовь в её глазах уступала место усталости. «Пап, — сказала она тогда, тихо, уже в дверях. — Я просто хотела сказать, что улетаю. Не нужно лекции. Один раз — без лекции, можно?»

Можно было. Он не смог.

Он помнил, как она стояла в дверях — рука на косяке, лётная куртка, через плечо сумка, в которой всегда лежал её собственный маленький компас, подарок его же, дедов второй, на счастье, — и ждала. Не лекции ждала. Ждала, что он подойдёт, что он на этот раз будет отцом, а не пророком; что скажет хоть что-нибудь человеческое — лети осторожно, звони, я тебя люблю, я по тебе скучаю, ты у меня одна. Между ними было три шага и одна целая жизнь. Он знал, что нужно сделать эти три шага. Он их видел. А вместо этого слышал собственный голос, который продолжал, продолжал говорить про инклинацию, про то, что в высоких широтах поле сдаст первым, про дозу, — будто, если он объяс-

нит ей мир достаточно точно, мир станет безопасным; будто правота — это и есть любовь, только умнее. Она не дослушала. Кивнула, как кивают чужому. И вышла. И дверь за ней он не открывал — он закрыл, дважды, на оба оборота, как закрывают за тем, кого больше не ждут, хотя ждал её каждый день после.

А теперь он не помнил её голос. То есть помнил записанный — одиннадцать секунд, «просто... перезвони», — а живого, тёплого, того, каким она говорила, пока он не оттолкнул её собственной правотой, не помнил. Правота съела голос. Он был прав — и пуст.

Телефон дёрнулся. Сообщение. Не от Ани — от Елены, два слова и точка, как телеграмма с того света:

«Началось. Не как ждали».

Он остановился посреди тротуара, и человек сзади налетел на него, выругался, обтёк. Не как ждали. Елена не бросалась словами; за «не как ждали» у неё стояли цифры, которые она не успела или не захотела вложить в сообщение, и эти цифры были хуже слов.

Он поднял голову. Небо тронулось.

Среди бела дня, в самом зените, прямо над портом, в выцветшей жаре проступила бледная зелёная полоса. Тонкая, призрачная, будто кто-то провёл по белому небу мокрой кистью с зеленью, и зелень потекла. Полярное сияние. В полдень. На широте, где его не видели никогда, где его не могло быть, потому что для него нужна тёмная ночь и магнитный

полюс под боком, — а полюс теперь был везде и нигде, поле рвалось на лоскуты, и каждый лоскут тащил своё сияние на юг, на людей, на полуденные пальмы.

В витрине через дорогу что-то блеснуло. Он повернул голову. Компасы.

Они крутились.

Все двадцать стрелок сорвались разом и пошли по кругу — не дрожа, не мечась, а ровно, бессмысленно, как стрелки часов, у которых отняли время. Хозяин выскочил на улицу, смотрел на витрину, открыв рот, и впервые на его потном лице не было ни добродушия, ни снисхождения — был тот же холод, что у Марка под рёбрами, голый детский страх человека, у которого только что отняли единственное твёрдое «туда».

Над головой хлопнуло. Что-то мягкое, тяжёлое упало к ногам Марка.

Чайка. Целая, без раны, белая с серым, тёплая ещё. Лежала на горячем асфальте, подломив крыло, и чёрный глаз смотрел в зенит, на зелёную полосу, которая отняла у неё верх и низ и дорогу, — и не моргал.

Марк присел над ней. Не из жалости — из точности; он всё ещё был тем, кто меряет. Птица была мертва. Над портом, в наступившей вдруг тишине — мотороллеры встали, мальчишки бросили мяч, — он услышал второй мягкий удар. Третий. Где-то дальше — целый шорох, будто по жестяным крышам пошёл частый, плотный, тёплый дождь.



Телефон в руке захрипел.

Не звонок — что-то прорвалось само, на аварийной волне, которую он давно не слушал и которую телефон, видно, поймал в общем хаосе эфира, когда соты повалились и сигналы пошли как попало, кто куда. Хрип, треск, женский диспетчерский голос, чужой, далёкий, рвущийся в клочья:

«...всем бортам в секторе... приборная навигация недействительна, повторяю, недействительна, переходите на... .. борт малой авиации, позывной... снижение неуправляемое, отказ... последняя отметка квадрат...»

Треск сожрал квадрат. Марк прижал телефон к уху так, что стало больно, второй ладонью зажал второе ухо, согнулся над мёртвой птицей, над раскалённым асфальтом, выгрызая из шипения слова.

«...держится курса, повторяю, борт держится курса без приборов, пилот докладывает визуально... снижается к...»

И сквозь чужой диспетчерский голос, далеко, на самом дне помех, — другой. Молодой. Спокойный неправильным, ледяным спокойствием человека, который очень боится и держит руки ровно. Он узнал бы его из тысячи. Он только что не мог его вспомнить — и вот он был, живой, в трубке, в крошечке мира:

«Приборы врут. Все. Папа был —»

Треск.

Тишина в трубке.

«Абонент находится вне зоны действия сети».

Марк стоял на коленях посреди тротуара, над мёртвой чайкой, под зелёным полуденным небом, в городе, где переставали тарахтеть моторы и начинали кричать люди, и держал у уха телефон, в котором больше ничего не было. По крышам шёл птичий дождь. Север крутился в витрине напротив, и нигде, ни на одной стрелке этого города, не было направления, в котором лежала его дочь.

Папа был — кто?

Прав. Или дурак. Она не договорила, и теперь он не знал — и не знал даже, есть ли ещё кому договаривать. Два слова, обрубленные на полувздохе, и в каждом — целая дочь. «Папа был прав» — значит, она вспомнила его уроки, перестала верить мёртвым приборам, читала небо, садилась по приметам, жива. «Папа был дурак» — значит, его рок отравил её, она запаниковала там, в высоте, без стрелок, одна, и его правота убила её вернее, чем чужое отрицание. Он стоял на коленях и держал в руке обе эти Ани разом, живую и мёртвую, как держат монету, не зная, какой стороной упадёт, — и не было прибора, который бы это измерил, не было больше на свете прибора, который измерил бы хоть что-нибудь.

Он поднялся. Колени дрожали. Где-то в груди, под холодом правоты, поднялось другое, горячее, давно забытое, и оно сказала ему очень простую вещь, проще всех его цифр: она снижается. Она ещё в небе. У него есть время ровно до тех пор, пока она не на земле. Может быть, час. Может быть,

минуты. Может быть, уже нет.

Он сунул мёртвый телефон в карман — телефон был теперь бесполезен, как все приборы, как сам он со всей своей правотой, — и побежал. Не зная куда. Зная только, что сидеть на месте и быть правым он больше не может; что это единственное, чего он теперь не может.

Он побежал.

Часть 2. Падение

Город сходил с ума красиво.

Вот что Марк запомнил после — не ужас даже, а красоту, от которой ужас становился непристойным. Над портом, над пальмами, над белыми коробками домов небо горело алым и зелёным разом, широкими медленными полотнищами, как будто кто-то распахнул над тропиками северную ночь, перепутав времена и широты. Алое текло сверху, зелёное снизу, они сходились и расходились, дышали, и в полдень, в жару, под этим неуместным великолепием по улицам бежали люди и валились с неба птицы.

Птиц было много. Он бежал, и они падали вокруг — голуби, чайки, мелкая порхающая дрянь, стрижи, что не садятся на землю никогда, — падали с глухим тёплым стуком, устилали тротуары, скользили под ногами. Кто-то кричал. Кто-то стоял, задрал голову, и смеялся или плакал, не разобравшись. У аптеки давились в очередь, не зная ещё, за чем; человек тащил воду ящиками; разбилась витрина, и в осколках лежали те же крутящиеся компасы. Сирены завелись поздно, вразнобой, и так же вразнобой смолкли. Город понял, что это не гроза, и понял всё сразу, как понимают катастрофу, — не разумом, а кожей.

Он видел вещи, которые потом всплывали в нём годами, по одной, без порядка. Свадебный кортеж, застрявший

в пробке из брошенных машин: невеста в белом стояла на подножке лимузина и снимала горящее небо на телефон, который уже ничего не ловил и не записывал, а она всё снимала, в фате, под алыми полотнищами, потому что не знала, что ещё делать с концом света. Старика на балконе, который сметал с перил мёртвых птиц веником, аккуратно, методично, по одной, как сметают опавшие листья, — и тут же падали новые. Собаку, которая выла, задрав морду к зениту, выла на сияние, и десяток других собак по всему кварталу подхватывали, и этот собачий хор стоял над городом ровный, как сирена, которой уже не было. Девочку лет шести у ног матери, которая показывала пальцем вверх и говорила восхищённо, звонко, на весь оцепеневший перекрёсток: «Мама, смотри, как красиво». И мать, которая не отвечала, только держала её за плечо так, что белели костяшки.

Красиво. Девочка была права. В этом и была непристойность: оно было красиво, и оно их убивало, и одно никак не отменяло другого. Небо не знало, что внизу люди. Небу было всё равно, и его алое, зелёное, текучее равнодушие было прекраснее всего, что Марк видел в жизни.

Марк бежал к дому. В голове, помимо воли, шла холодная строка, которую он диктовал себе всю жизнь и которая теперь сбывалась по пунктам: многополюсный распад, ускоренный, локальный; защита упала; авроры на низких широтах; коллапс магниторецепции. Он бежал по строке своей правоты, как по битому стеклу, и каждый пункт резал.

Дома он сорвал с антресоли рюкзак, который собирал три года и за который Лена называла его сумасшедшим, а потом перестала называть и просто ушла. Дозиметр — щёлкнул, ожил, показал чуть выше фона, спокойно пока. Респираторы. Вода. Аналоговые часы. Карта — бумажная, дорог, без всякой электроники. Он застегнул рюкзак и сел на пол прихожей, спиной к стене, под крик за окном, и впервые с крыши позволил себе подумать прямо.

Она на севере. Навигация мертва по всей планете. Дорог к ней нет — нет даже способа узнать, где «к ней». Он был прав, он был так оглушительно прав, и правота сложилась в одно ледяное слово: поздно.



— Пусть горит, — сказал он стене.

Он сам испугался того, как легко это вышло. Пусть горит. Он предупреждал. Его не слушали. Его сломали за то, что он был прав, и вот теперь правда пришла за всеми, и где-то в этом справедливо до тошноты. Они не верили в рок — пусть встретятся с ним. Денис не верил — пусть. Город не верил — пусть.

Он сидел на полу и растил в себе эту чёрную, сладкую, отравленную правоту, потому что она была легче. Легче, чем встать. Легче, чем признать, что в семистах километрах к северу падает с неба человек, который у него один, и что он, всезнающий, всепредсказавший, ничем, ничем не может ей помочь. Правота не требует идти. Правота позволяет сидеть

на полу и быть правым до конца.

Зазвонил телефон.

Не сота — он узнал короткий, чужой звук служебной связи, которую сам когда-то налаживал и не сдал. Аварийный радиоканал лаборатории, прямой, минуя соты. Он смотрел на трубку, как на змею, и знал, чей это будет голос, и поэтому не хотел брать.

Взял.

— Ты живой. — Голос Елены, сухой, ровный, изъеденный по краям статикой. Не «как ты», не «слава богу». — Хорошо. Слушай меня и не перебивай, эфир рвётся, у нас минуты.

— Лена...

— Не перебивай. Я тебя вижу. Я вижу всё — пока вижу. У меня ещё держится канал на два спутника и три наземных узла, я снимаю поле в реальном времени, я строю модель. Я знаю, где сейчас прорехи и где пятна. Запоминай слово: зоны. В этом распаде поле не обнулилось ровно — оно рваное. Есть пятна, где оно ещё держится, почти прежней силы. Под пятном можно дышать, под пятном врёт меньше, под пятном живут. Эти пятна дрейфуют. Я могу считать, куда.

Марк сидел на полу, прижав трубку плечом, и старая выучка включалась сама, поверх чёрной правоты, оттесняя её. Зоны. Дрейф. Модель.

— Аня, — сказал он. — Лена. Аня падала. Я слышал диспетчера. Север, малая авиация, неуправляемое снижение, без приборов. Она держала курс визуально, я слышал её,

она...

Молчание в трубке. Не растерянность — Елена не терялась. Она считала.

— Дай позывной и последний квадрат, — сказала она наконец, и в её ровном голосе что-то на миг просело, потому что Аня была и её, по-своему, ученица, крестница их общего разбитого прошлого. — Я попробую поднять архив трекинга, пока сеть жива.

Он дал, что знал, — крохи, обрывок квадрата, время. Слышал, как на том конце стучат клавиши, быстро, зло. Долгая, страшная пауза.

— Нашла последнюю отметку, — сказала Елена. — Север, побережье, точка у меня есть приблизительная. И, Марк. — Пауза. Статика. — Слушай очень внимательно. Там идёт зона. Большая, плотная, дрейфует к юго-западу. Её передний край накроет район её падения. Не сейчас. По моей модели — через несколько дней, если дрейф не сорвётся. Это значит две вещи. Хорошая: если Аня села и поле над ней пока держится по краю, она жива и будет жива какое-то время. Плохая: окно. У вас есть окно, пока зона не пришла. После — там никто не пройдёт и не выйдет. Ты понимаешь, что я говорю?

Он понимал. Чёрная правота осыпалась с него, как зола. Не поздно. Ещё не поздно. Есть точка, есть окно, есть — впервые за три года — что делать.

— Я пойду, — сказал он. — Веди меня. Ты считаешь зоны

— веди, я дойду.

— Я не доведу, — сказала Елена, и это было самое страшное, что она могла сказать, потому что она никогда не признавала бессилия. — Слушай. Я вижу макро. Я вижу, где зона была час назад и где будет, грубо, к завтрашнему утру. Но моя картинка стареет на глазах и слепнет — узлы валяются один за другим, спутники уходят за горизонт и не возвращаются, через сутки-двое у меня останутся клочья. А поле на земле живёт быстрее моей картинки. Граница зоны дышит, дрейф рыскает, локально всё решается в часы и минуты. Тебе нужен человек на месте, который переведёт мою грубую карту в «куда шагнуть сейчас». Который читает поле здесь, вблизи, по сигнатуре. Который знает, как именно эта дрянь деформируется около себя.

— Это ты. Ты единственная это знаешь.

— Нет. — Голос её сел совсем. — Я знаю, как поле живёт само. А оно теперь живёт не само. Его сорвали. У него теперь чужая, наведённая сигнатура — сигнатура того, что его сорвало. Я её не читаю, Марк. Её читает один человек на земле. Тот, кто построил «Эгиду». Кто знает её импульс наизусть, кто понимает, как именно её толчок ломает поле вблизи. Без него я — карта без компаса. С ним — мы, может быть, проведём тебя по приметам туда, где она.

Марк закрыл глаза.

— Нет, — сказал он. — Только не он.

— Да, — сказала Елена. — Именно он. И ты пойдёшь к

нему, и ты будешь с ним любезен, потому что между тобой и твоей дочерью сейчас стоит Денис, и больше никого. Эфир уходит. Адрес ты знаешь. Иди.

Трубка зашипела и умерла.



Дверь он не открывал три года.

Он стоял перед ней, на лестничной клетке дома, где когда-то бывал по-свойски, без звонка, где они с Денисом и девчонкой ели на кухне до полуночи и спорили обо всём и были счастливы той тупой счастливостью, которую замечаешь, только когда её отнимут. Дверь была та же. Запах лестницы тот же — кошки, краска, чужие ужины. За дверью пахло иначе: горелой проводкой, едко, как пахнет умершая электроника.

Он постучал. Тишина. Постучал ещё. За дверью — шорох, потом голос, которого он не слышал три года, осевший, незнакомо тихий:

— Открыто.

Денис сидел на полу кухни, среди разобранной аппаратуры. Он всегда что-то чинил руками, всегда; и сейчас руки его работали — перематывали, разбирали, складывали, — но глаза были пустые, и руки работали сами, отдельно, чтобы хозяину не нужно было чувствовать. На груди у Дениса, поверх несвежей рубахи, висел на шнурке бейдж — синий, с белой эмблемой, «Эгида», его пропуск, его слава, его приговор. Он не снял его. Сидел и чинил какую-то остывшую

плату посреди погибшего мира, не снимая с шеи знак того, что сделал.

— Привет, — сказал Денис, не поднимая глаз. — Я знал, что кто-нибудь придёт. Не думал, что ты.

— Ты знаешь, что вы сделали, — сказал Марк. Не вопрос. Руки Дениса на секунду замерли. Потом снова пошли.

— Я знаю, что мы сделали, — сказал он. — Я знаю это лучше тебя, Марк. Ты знал, что будет. Я знаю, что есть. Это разные знания. Твоё было дешевле.

— Дешевле. — Марк шагнул в кухню, и старая ярость, и старая боль, и три года поднялись в нём разом. — Меня сломали за моё дешёвое знание. Меня выгнали, от меня ушла Лена, ты при всех — при всех, Денис, — назвал меня трусом, который боится будущего. А ты грубо, руками, своими вот этими руками толкнул то, чего нельзя касаться, и теперь птицы падают на улицы, и весь твой щит...

— Это был не щит. — Денис поднял наконец голову, и лицо у него было серое, опухшее, лицо человека, который не спал и не будет спать. — Хочешь правду, раз пришёл за ней? Это никогда не был щит. Поле рождается в ядре, за восемь тысяч километров, туда не дотянуться никакой машиной, ты был прав, ты всегда был прав, я знал это и тогда. Мы и не лезли в ядро — мы били по тому, до чего достаёт рука. По верхней сцепке: магнитосфера, ионосферный токовый слой, связка поля с корой — всё, что у поверхности, всё, что наводится. «Эгида» не питала ядро. Она ударила согласованным

импульсом по этой верхней связке — а связка уже стояла на самом краю, на пороге, метастабильно, как ты и говорил, как Лена говорила. Дёрнули одну карту — и весь карточный дом поехал вниз, в резонанс с тем, что и так было готово сорваться в ядре. Маленький толчок по достижимому. Огромная система на пороге. Этого хватило. — Он опустил глаза. — Подробности — потом, если будет потом. Зачем ты пришёл? Не за этим же. Ты пришёл не убивать меня, иначе уже бил бы.

— Ты знал, что я прав, — повторил Марк. Голос у него сел. — И всё равно вышел на ту трибуну. И всё равно сказал то, что сказал.

Денис долго молчал. Где-то за окном кричали, выла собака, шёл по крышам тёплый дождь из птиц, а они сидели в кухне, в которой когда-то были счастливы, и между ними стояли три года.

— Я не за «Эгиду» с тобой воевал, — сказал он наконец, тихо. — Я с тобой воевал, потому что ты был невыносим. Потому что ты приходил с этим своим лицом, с этими своими цифрами, и от тебя пахло концом света, и ты был так уверен, что мир обречён, что рядом с тобой не хотелось его спасти — хотелось доказать тебе, что ты не прав. Назло. Я хотел победить тебя, Марк. Не поле. Тебя. Я столько лет проигрывал тебе во всём — ты был умнее, ты был первым, к тебе шли студенты, тебя слушала Лена, — и тут наконец был спор, который я мог выиграть, целый мир в качестве приза.

— Он усмехнулся, страшно. — Я выиграл. Смотри в окно. Я выиграл наш спор. Все стрелки теперь показывают на меня.

Марк хотел ударить его. Хотел сказать — это и есть твоё высокомерие, я об этом и кричал, вы не слышали не поле, вы не слышали меня. Но под яростью что-то поворачивалось медленно и тяжело, и это что-то было невыносимее ярости: он узнавал. Узнавал себя. Он ведь тоже был прав не из любви к миру — из любви к своей правоте; он тоже отталкивал близких этой правотой, как оружием; он тоже выбирал быть правым вместо того, чтобы быть с ними. Аня в дверях. Лена с коробками. Один сломал мир гордыней силы, другой — гордыней знания, и оба остались одни, и оба были, каждый по-своему, правы, и это не стоило ничего.

Марк стоял, и ярость не уходила, но под ней, твёрже ярости, лежало дело.

— Аня упала, — сказал он. — Север. Она жива, пока жива. К ней идёт зона. У нас есть окно. Лена ведёт по радио, но она слепнет, и ей нужен человек, который читает на земле твою... сигнатуру. Твоего толчка. — Слова царапали горло. — Она сказала, это можешь только ты.

Тишина. Руки Дениса остановились — на этот раз совсем, и легли на колени, и впервые за всё время были просто руками, которым нечего делать. Он смотрел в пол. Потом сказал, очень тихо:

— Анька.

— Анька, — сказал Марк.

— Я крестил её, — сказал Денис, ни к кому. — Ты помнишь. Ты тогда смеялся, что я в бога не верю, а крещу. Я сказал — не для бога, для неё. Чтоб у неё был ещё один взрослый, который за неё.

— Помню.

Денис поднял голову. В мёртвых глазах что-то зажглось — не надежда даже, а нечто более жадное и опасное: возможность сделать. Человек, сломавший мир, не мог его починить, и это убивало его медленнее, чем убьёт радиация, — а тут перед ним клали то, что починить можно. Не поле. Дорогу к одной девочке. Он ухватился за это, как тонущий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.